Учительница закрыла школьный журнал и потянулась за хрестоматией:

— А сейчас, пока у нас есть пять минут до конца урока, я бы хотела начать новый рассказ, кому понравится — сами дочитаете дома.

Желтый свет.

Я проснулся серым утром. Комната была залита ровным желтым светом, будто от керосиновой лампы. Свет шел снизу, из окна, и ярче всего освещал бревенчатый потолок. Странный свет — неяркий и неподвижный — был непохож на солнечный. Это светили осенние листья...

Она знала, что дочитают только отличница Уварова и Витя Окунев с Набережной улицы. У него тройки за четверть по химии и геометрии, а литературу он любит, особенно русскую. Последние пять минут урока для остального класса — это тихие сборы. Дети не станут шелестеть учебниками, стараясь бесшумно убрать их в портфель, не станут ерзать, они тихо высидят эти утекавшие пять минут, потому что уважают ее, но и слушать будут вполуха.

Ее распределили после института в этот поселок — не самое глухое место на карте: есть комбинат, где полно молодежи,

есть Дом культуры, детей полно и школа работает в две смены. Она кинулась в работу с неутоленным пылом альтруиста. Через месяц уже функционировал театрально-драматический кружок, собирался два раза в неделю и к новогоднему балу готовил постановку. Вторым направлением был поэтический клуб «Лира»: по вторникам после уроков застенчивые юноши и девушки читали друг другу свои несмелые вирши, обсуждали, советовались, хвалили и критиковали.

Учительнице часто попадало от школьного начальства за «нестандартное проведение уроков», и даже ронялись угрозы о докладе в районо. Директор был недоволен, что молодой специалист позволяет себе отходить от школьной программы и в сэкономленное время перегружать учащихся дополнительным материалом. Она, как могла, отстаивала свою методологию, ссылаясь на профессора с краевым имением, преподававшем у нее в институте.

Сегодня утром, узнав, что на классный час в 7 «Б» она пригласила ветерана, директор немного опешил:

— Это что вы надумали посреди октября-то? К чему встреча приурочена?

— Разве такие встречи необходимо приурочивать? — не менее директора удивилась учительница.

Директор побарабанил по крышке стола, прочитав короткое досье приглашенного гостя, от удивления перешел к легкому возмущению:

— А зачем этого позвали? Ни биографии, ни заслуг. Сторож на комбинате, наград не имеет, холостяк. Почему не пригласить заведующего цехом, товарища Шаталова? Вот действительно, судьба у человека. И на фронте себя проявил, и в мирной жизни, и в быту — золотое руки. Глава семейства — трое детей, внука на днях ждет.

— Шаталов и так в каждом номере районки, на любой праздник с трибуны выступает, дети его давно знают.

— А про этого вашего сторожа им знать зачем?

— Чтобы показать: на фронте не бывает лишних людей, каждому свое место.

Директор недовольно двинул в бумажку пальцем:

— Тут написано, что он в плену был. Про это тоже детям знать надо?

— А вы бы хотели оставить для детей факт плена на войне тайной?

Директор чуть не плюнул от досады на бестолковую пигалицу. Набравшись терпения, более мягко произнес:

— Что он им расскажет? Как за решеткой четыре года войны просидел?

— Почему же только это? Он может рассказать про лагерное подполье, про скрытое сопротивление в неволе, про несломленный дух наших плененных. Про загнивающий Запад, в конце концов, про оскал капитализма, пролетарский дух и солидарность европейских тружеников с рабочими республики Советов.

Директор смотрел на нее, не до конца осознавая — ерничает она в эту секунду или говорит искренне.

— Не знаю, хватит ли у него слов, человек он без образования, найдет ли общий язык с нашими сорванцами? — вслух задумался он.

— Я думаю, мы ему поможем, направим разговор в нужное русло, подкорректируем. Ведь вы же придете на встречу?

— А вот это я когда разбирать буду? — хлопнул директор по стопке бумаг.

Он помнил, что вечером его позвали на дальнюю протоку: в компании начальника райотдела, директора комбината и секретаря райкома бить разжиревших к перелету уток.

Ветеран зашел в класс, и было видно, как он жалеет о своем приходе. Он хотел пойти к задним рядам, сесть там за парту, но учительница ласково взяла его за рукав, усадила за свой стол в центре. Пожилой мужчина конфузливо поправлял воротник рубашки, одергивал полы старенького пиджака с юбилейной медалькой на железной, не зачехленной тканью колодке, прятал глаза под напором детских взглядов. Пока учительница представляла его, знакомя с классом, он сам у себя спрашивал: «Зачем я на это согласился?»

Учительница пришла к нему неделю назад, объяснила, чего хочет. Он растерялся — за много лет его никуда не приглашали. Вначале сказал, что придет и почти тут же отказался от слов. Потом, волнуясь, попросил время на размышление, снова заверил, что не придет, и перед самым ее уходом опять попросил ночь и день, чтобы подумать.

Теперь он здесь, клянет себя и не знает, куда девать свои руки... А учительница эта любезным голоском из него слова тянет:

— Василий Валентинович, расскажите, как вы встретили войну. Где были в этот момент? От кого услышали страшную весть?

Ветеран спрятал в рукав пиджака манжет рубашки с легкой бахромой от ветхости:

— В литовском городе... название трудно выговорить... недалеко от границы, в общем...

— Значит, вы были в армии 22 июня, — помогала учительница.

Он соглашался, полуобернувшись, подолгу смотрел на нее, будто ждал защиты, и она чувствовала, что в эти секунды он отдыхает, словно боится детей и их взглядов, а сама думала: «Давай, старик, скажи им правду, скажи им все. Пусть знают, что война — это не марши и знамена над рейхстагом, пусть запомнят других ветеранов, не увешанных медалями, а именно таких».

Он демобилизовался в сорок седьмом, месяц проведя в фильтрационном лагере и полтора года дослуживая в армии на лесозаготовках в Удмуртии. Все возвращались к заведенным до войны семьям, а у кого их не было — встречали таких же обездоленных, с неидеальной анкетой, обзаводились женами и бытом. И только он не знал, как жить ему дальше. Он не раз спрашивал себя: «Может, война и плен не виноваты, и без них я остался бы холостым, неумелым, скромным сторожем?»

Дети тоже видели, что старику хочется быстрее уйти отсюда, сидели молча, и только Витя Окунев поднял руку:

— А когда можно будет задавать вопросы?

— Вопросы в конце, Витя, ты же знаешь.

Ветеран нежданно ожил:

— Да нет, чего же конца ждать? Пускай задает.

— А вы за границей бывали? — обрадовался Витя ветеранской мягкости.

— Да. Сперва нас через Польшу везли до лагеря, потом раскидали по всему свету: кого в Германию, кого дальше... Я во Францию попал, три года в шахте работал.

— И в Голландии были? — пытал ненасытный Витя.

— Издали видел, пока везли... Через решетку.

— Я читал, что в Голландии лучшие коньки-бегунки до сих пор из свиных костей делают, как в средневековье. Правда это?

— Не знаю, Витя, не видел, — уныло отозвался ветеран.

Он вспомнил, что зато знает, какова на вкус костная мука. На последнем году заключения его обратно перевели в Германию. Голодала вся Европа, и лагерному начальству было не до заключенных. Они выживали как могли. Ветерану никогда не забыть звук перетираемой на муку, вываренной и оглоданной человеческой кости.

Учительница сделала Вите знак «не морозь больше глупостей», а вслух у ветерана спросила:

— Скажите, Василий Валентинович, вы помните свой последний день заключения?

Ветеран вернулся из забытья, вопрос расслышал:

— К нашему концлагерю подошли американцы… Они освободили… У немцев с ними сговор был. Фашисты к ним лучше в плен шли, наших боялись, думали, что мстить будем. А перед американцами страха у них не было, они из-за океана только в конце войны приплыли, немцы им насолить не успели, потому и американцы против них не лютовали… И вот договорился начальник нашего концлагеря с американским майором, что сдастся тогда-то и во столько-то, а вы нас не воюйте, все тихо и мирно вам отдадим. А сами подлянку против нас задумали… Но сбежал к американцам один охранник… Выгоду свою искал, не иначе… Что ж, неужели он четыре года людей казнил, а потом вдруг хорошим стал? Наверное, и сейчас он живет еще… В Нюрнберг таких мелких не таскали…

За тысячу километров от рассказчика, классного часа и школы сидел у себя дома бывший охранник концлагеря. Второй год его добивала неизлечимая болезнь, и каждый день он думал о загробном мире. Ему приходилось класть на одну чашу весов весь поток ужаса, что он принес людям и рассуждать: перевесила ли чаша в хорошую сторону от его последнего поступка. Он знал, что в ту ночь американцам сообщили о полной сдаче лагеря без сопротивления. И на следующий день к обеду так бы и произошло. Но на завтрак русским пленным должны были выдать несколько тонн отравленного хлеба с медленным ядом. Американцы заняли бы лагерь, арестовали всю охрану и начальство, а к вечеру получили бы двадцать тысяч умирающих военнопленных союзников. Попробуй потом докажи, что это германское коварное убийство, а не безответственность американцев.

Лагерный часовой сбежал ночью, встретил американский патруль и с трудом добился, чтоб его отвели к командиру. Спортивного вида янки в звании майора услышав весть, долго не думал: дал приказ идти на штурм концлагеря с рассветом, до того, как оголодавшим русским выдадут завтрак.

Он слышал грохот боя за холмом — его глупцы-однополчане почему-то стали сопротивляться янки. Зачем? Ведь всего пару часов спустя они собирались покорно сдаться. Ему не было жаль гибнувших теперь бывших товарищей и собутыльников, сами виноваты, открыли огонь по янки, не было жаль и приготовленных к казни русских.

После войны его быстро выпустили из лагеря, и он попал в полицию образованного американцами государства, прожил безбедно эти годы, на улицах и в обществе стало дурным тоном напоминать человеку о его прошлом. Сам глава Федеративной Республики Германии оправдал этих

людей в глазах народа своей речью: время было такое, а люди, живущие в его жерновах — они не виноваты.

Мир вокруг стремительно менялся, обновленная страна с помощью партнеров и союзников залечила раны войны и уже посматривала на восток с горделивым презрением: «Жалкие коммунистические нищеброды, наш единый народ бежит из-под вашей власти, перелезая тюремную стену, которой вы же сами от нас отгородились». Бывший лагерный надзиратель тоже посмеивался, обсуждая с соседями статьи о новых безумствах комми в восточном Берлине, на ночь выпивал стаканчик подогретого молока и спокойно ложился в супружеское ложе.

Про вину ему впервые напомнил подрастающий сын. Придя из школы, мальчик хлопнул о стол учебником:

— И ты потакал нацистам, отец?

С полминуты в главе семейства накипал гнев и вырвался криком:

— Я посмотрел бы на тебя, щенок! Что бы ты сделал?

Сын менялся день ото дня, родителей своих сторонился, а когда ему стукнуло семнадцать — пропал. Под Рождество он прислал открытку с марками и штампами соседней республики. Поздравлял всех с семейным праздником, хвалился, что наконец-то обрел истинную родину, смысл жизни и великую цель, а с ними — счастье. Известие шокировало всю родню, мать беглеца уложило на больничную койку, с которой она уже не встала.

Бывший лагерный охранник тоже был уверен, что ноги у его болезни растут из сыновнего предательства. Съедаемый изнутри, он утопал дряблым телом в мягком диване, тянулся к столу, заваленному лекарствами, за таблеткой обезболивающего и не переставал соизмерять, что перевесит: двадцать тысяч русских, не успевших получить смертельного хлеба, или те, кто умер по его вине в лагере за четыре года? К тому же эти двадцать тысяч спасенных нужно поделить пополам с американцами или хотя бы с тем храбрым майором...

Престарелый полковник морской пехоты в отставке выключил телевизор, и комната погрузилась во мрак. Снова вести с индокитайских полей. Кадры о зверствах вьетконговцев, о жестоких хошеминовских тюрьмах и бесчеловечных ямах, где держат сбитых американских соколов. И все тот же перст, указующий на север: там гнездо нового фашизма, там новая угроза, перед которой в едином порыве стоит объединиться всем демократическим силам и народам.

Полковник каждый раз хмурился и заставлял себя смотреть передачу, но ни разу не выдерживал новостную сводку до конца. Он знал о русских не из вышколенных правительством СМИ, он воевал с ними против истинного фашизма и не соглашался с новым клеймом, повешенным нынче на бывших его союзников. Они и теперь оставались лично для него друзьями, и он не боялся об этом говорить:

— Или у нас не демократическое общество? Про свободу слова слышали?

Приятели и бывшие сослуживцы его упрекали:

— Ты совсем свихнулся под старость, Билли. Какие они нам союзники, если желтомордые сбивают наших парней русскими ракетами? Комми всему миру твердят, что мы мировая угроза, и устроили у нас под боком осиное гнездо, обозвав его «Островом Свободы».

Бывший полковник холодно заявлял:

— Чтобы научить мир демократии, нам следовало бы оставить желтомордых в покое, они сами решат, под какой звездой им плыть.

Полковник и вовсе бы перестал смотреть ТВ и читать прессу, если бы не его мальчик, служивший в аэропорту Сайгона. От него регулярно приходили письма, и он звонил раз в месяц без опозданий, но вдруг мелькнет на экране или с газетной фотографии его родное лицо, а полковник этого не увидит.

Один раз, когда из-за океана в город впервые привезли гроб, обернутый флагом, его пригласили на церемонию похорон. Полковник сказал тогда, что самой лучшей наградой для солдата является честь отдать свою жизнь за друга и выразил надежду, что этот парень, которого они сегодня провожают в последний путь, погиб именно так, заслонив собою другого. Тут полковник стал рассказывать о своем последнем бое:

— Это было в апреле сорок пятого, уже маячил Берлин у нас в прицелах. На пути попался концлагерь с тысячами изможденных невольников, и немцы согласились его сдать без боя на другой день. Ночью к нам перебежал один из них и сказал, что утром заключенных накормят отравленным хлебом и те умрут, когда мы уже придем в лагерь и ничего не сможем поделать. Мне было жаль наших парней, но я отдал приказ идти на штурм… Я помню фамилию каждого, кто погиб в бою за этот лагерь! И эти парни погибли не зря, освободив двадцать тысяч наших русских союзников!

В толпе царило безмолвие, но по официальным лицам пробежала нервная дрожь, а полковник продолжал:

— И если бы сегодня мне дали второй шанс и снова бы прибежал «благодетель» от нацистов, я бы и теперь пошел освобождать братьев по оружию ценой своей жизни…

К микрофону подбежал огромной чернокожий капеллан, мягко обнял полковника за плечо и, немного отстранив, сказал блюзовым баритоном в мембрану:

— Полковник учит всех нас христианской добродетели, показывая пример…

— Я ничему вас не учил! — перебил его полковник. — Я только сказал, что ни о чем не жалею…

К чернокожему подтянулись помощники и деликатно увели полковника от микрофона.

И сегодня, сидя в полумраке комнаты с погашенным, но еще не остывшим экраном, он знал: тот случай был главным в его жизни…

Ветеран закончил рассказ о своем освобождении. Учительница видела, что веки его больше не вздрагивают и руки успокоились, перестав прятать манжеты и одергивать пиджак. Она опередила детей, не дав им обрушиться с неудобными вопросами:

— Спасибо вам, Василий Валентинович, за теплую и откровенную беседу! Вы знаете, мы сможем откликнуться на любую вашу просьбу, помочь по хозяйству или в огороде. Может, вам нужен ремонт сарая или какой-нибудь мебели — у нас ребята мастеровые, их на уроках труда приучают. Вы обращайтесь к нам без стеснения. Правда, ребята?

В коридоре зазвенел звонок, и шум детских голосов слился с ним, затрепетал, как сердце где-то в груди у ветерана. К его горлу подкатили слезы, он встал, неловко поклонился в ответ, глухо вымолвил:

— Я пойду… спасибо вам, ребятки…

Он шел домой и больше не ругал учительницу и себя за мягкость, с которой так легко уступил ей, согласившись на встречу.

В школе начался последний урок второй смены. Учительница зажгла керосиновую лампу, щелкнула выключателем. Класс одобрительно загудел, окутавшись таинственной и немного страшной полутьмой.

— Будете баловаться: зажгу свет, и продолжим заниматься по программе, — предупредила учительница.

Дети сидели покорно, вдохновленные лица на первых рядах выплывали из сумрака: мы внемлем, читай!

И она начала:

Наедине с осенью

Осень в этом году стояла — вся напролет — сухая и теплая. Березовые рощи долго не желтели. Долго не увядала трава. Только голубеющая дымка, ее зовут в народе «мгой», затягивала плесы на Оке и отдаленные леса...

За окном лаяли собаки, не хотелось смотреть туда, ведь там, в окнах одноэтажных домов, горел электрический свет, а так хотелось быть наедине с осенью и этой керосиновой лампой.

СТАЛЬНАЯ НИТЬ

Через вечно не просыхавшие солончаки резалась витиеватая четырехполосная колея. Глубокая, основательная, продавленная крупной техникой. Пеший здесь еще пройдет, конному тоже дорога, грузовому, да если после дождя, — уже опасно. А зачем этот на «москвиче» своем сунулся? Тут только агрономов уазик переплывет, да и то если сушь постоит, с неба дня три хотя бы лить не будет.

Сазонов на «газоне» плавно выполз из одной колеи и перевалился в другую, параллельную, остановился, поравнявшись с «москвичом», опустил стекло в двери:

— Что, брат, выручить?

Возле заглушенной легковушки стояли четверо, курили, угрюмо смотрели на завязшие колеса. По одежде видно — издалека, даже не районные, может, областные или того дальше. Один выбросил окурок, суетливо забегал, обнадеженно закивал:

— Трос из багажника достану.

«Газон» снова поменял колею, потом стал пятиться и остановился в метре от капота легковушки. Водитель торопливо разматывал заскорузлый трос, рукавицы его цеплялись за торчавшие стальные нити.

— Ты меня только из грязи выдерни, а дальше я сам, — торопливо говорил он вылезшему Сазонову.

— Куда сам? Дальше, думаешь, легче будет? Я тебя до бетонки доволоку.

Сазонов закрепил трос, велел всем рассесться по местам. В кабине «газона» он ласково похлопал по баранке, вслух сказал:

— Давай, кормилец.

По давней примете Сазонов знал: когда день с «левака» начинается, оно и работать приятней. Правда, и в этом ремесле без осечек не случалось. Один раз выбежали на дорогу и активно замахали руками темнолицые товарищи с востока, сулили отплатить «настоящим грузинским ви-

ном», если Сазонов выдернет их завязшую «Волгу» из грязи. Он пошарил под сиденьем, нашел казенный термос, шедший в комплектации с последними комбайнами, и протянул посудину под вино. Терпевшие бедствие товарищи говорили скопом, редко на русском, а скорее на своем коренном наречии, перебивали друг друга и самого Сазонова. Грузовик освободил «Волгу», вытащил на твердый путь, пока Сазонов возился с тросом, «Волга» дала по газам. Сазонов не ругался ей вслед, не грозил кулаками, не плевал досадно под ноги, он медленно смотал трос и тихо поехал дальше. Через километр увидел знакомую «Волгу», снова увязшую в грязи. Товарищи с востока теперь взмахами не зазывали, ждали очередной милости от хозяина грузовика, любезно улыбались. Сазонов увидел лужу рядом с «Волгой» и сознательно вильнул в нее колесом, увидел, как поднятая его машиной волна накрыла легковушку и отскочивших в стороны ездоков, без сожаления подумал: «Черт с ним, с термосом. Дарю, на бедность вашу...»

Припекавшее солнце выдавливало из сырых солончаков дрожащее марево, вода веселее засверкала в длинных лужах. Сазонов глянул в зеркало: «москвич», собирая у бампера пластилиновые слои, елозил по грязи. Он протянул в окошко левую руку, жестом, оттопыривая вверх большой палец, как бы спросил: все в порядке? Водитель «москвича» тоже махнул рукой: декать, порядок.

Навстречу полз трактор с телегой, груженной досками, балками, шифером. Трактором управлял знакомый — Сашка. С ним они однажды почти подрались. Сидя за второй бутылкой, Сашка попросил продать ему куртку. Сазонов курткой дорожил — подарок дядьки, из Югославии привезенная, заграничная вещь. Куртка выходного дня. Да по ней любой в Сазонове городского распознает. Сашка, как на аукционе, все время повышал цену, называя сумму, равную двум своим зарплатам, сыпал доводами: «Да у тебя и брюки останутся, и туфли твои крокодиловые, отдай куртейку, еще червонец накину». Сазонов не уступал, торги чуть не закончились мордобоем.

Трактор замер, Сашка открыл дверцу, встал на подножку. Сазонов тоже притормозил, хотя знал, что дельного Сашка ничего не скажет, а просто принято так: встретились посреди поля, надо поздороваться за руку, а не взмахом на ходу, сказать два слова.

— С Поповых дач еду, переезжают хозяева, — протянул Сашка руку.

— Сколько ж там дворов осталось? — спросил Сазонов, знавший о маленьком хуторе.

— Егорихи дом еще стоит, да к Стакан Иванычу племяша привезли, чтоб экзамены штудировал, а то родители боятся — не поступит. Изолировали малого от гулек, от цивилизации. Кстати, о цивилизации, говорят, в больницу старуху вековую привезли, то ли с Кошолапова хутора, то ли с Найденщины, валенки кое-как сняли, а под ними — когти, как грибы, проросли и в узлы завязанные. Такие и за месяц не вырастут, года два она эти валенки не снимала, когти растила. Хутор совсем брошенный, старуха одна в нем доживала.

Сазонов молча кивал, иногда делал изумленное лицо, а сам жалел Сашку: бедный, тяжело ему, наверное, трактор перекрикивать.

— А ты кого везешь? — кивнул Сашка на «москвича».

— Фамилии не спрашивал.

— Застряли, что ли? — пытал Сашка и без того понятные вещи.

Сазонов выразительно моргнул. Сашка опять протянул руку:

— Ну, бывай!..

В прошлом году в Поповых дачах жила целая улица в семь домов. За осень и весну разъехалась половина хутора. Переезжали люди в крупные села со своими разобранными домами, ставили их на новом месте, а старое быстро прорастало бурьяном и забытьем.

Второй год подряд Сазонов приезжал на уборочную в одно и то же село. Со многими перезнакомился, с иными подружился, нескольких даже успел полюбить. В прошлый полевой сезон он не раз сиживал у одинокого старого пастуха, слушал его долгие рассказы о прожитой жизни. Старик с апреля по ноябрь жил в крохотной сторожке, доярки с соседней фермы привозили ему обеды и ужины, иногда штопали одежду и обстирывали. На зиму пастух уходил в село, становился на постой к одинокой старушке, платил из сэкономленных за лето зарплат. В крохотном его летнем жилье, как и от самого старика, пахло овцами, полынью, кислым молоком. Было почему-то уютно сидеть за колченогим низеньким столом, при бутылке, куске сала, ржаной краюхе, горсти соли и керосиновой лампе. У старика в голове умещалась масса историй, какие-то он пережил сам, другие узнал от людей. Сазонов слушал его и часто думал: почему пастух одинок? Кажется, все у толкового старика было: и житейская мудрость, и хозяйственность — каморку он белил и подмазывал сам, иногда чинил камышовую крышу.

Приехав в село на этот раз, Сазонов сразу спросил о пастухе. Узнал, что схоронили его по весне. Старик не дожил дня до нового полевого сезона, вот-вот должны были выгонять овец из ферм на пастбища, переводить в летнюю овчарню. Перед смертью старик успел попросить: «Вынесите на выгон... в небо гляну». Его погрузили на телегу и повезли не к больнице, а к родному выгону. Ночь была звездной, и старик застыл с остекленевшим взглядом, упиравшимся в высь.

Про таких как он не пишут в районных «Заветах Ильича», а он и вправду не был героем соцтруда. Он был бессменным пастухом не для роста планов по сданной государству шерсти и не из-за того, что больше ни к чему в этой жизни был непригоден, а лишь потому, что не мог жить без вытоптанного выгона да этих апрельских звезд. Душа овечья была ему гораздо ближе людской.

Сазонов помнил экзотические истории из стариковой молодости. Как сходились парни из окрестных хуторов на сельские танцы или в кино. У каждого хутора была своя отличительная черта, принадлежность к касте: у одних цветок в картузе, а у иных тот же цветок, продетый в верхнюю петельку рубахи. Как славился каждый полевой стан своим чаем: все зависело от трав, росших поблизости с летней столовой и личных вкусов царствовавшей здесь стряпухи. Сазонов слушал и понимал, что рассказанное стариком — это даже не верхушка скрытого от Сазонова айсберга, а крохотный пятачок в квадратный сантиметр из того богатства и разнообразия, какими жила деревня, современница старика. Причем старик не рассказывал об этих деталях специально, они приходились у него так, к слову. Сазонову нравилось улавливать их, эти приметы, смаковать стариковы рассуждения об оскудевшей деревне:

— Вот гляди, Юрок, техника стала передовая у нас, теперь столько народу, как прежде, земля уже не требует. Трактор новый любого фордзона за пояс заткнет. Значит, что? Значит должен я, крестьянин, за работу драться, вырывать ее зубами, потому как работы теперь мало, а народу много. А на деле как? Почему к нам на посевную солдат присылают?

Почему картошку студентами убираем? Почему городских, таких как ты вот, на уборочную мобилизуем? Народ из деревни повалил, мрет деревня, другим словом. Крестьянствовать сезонно не с руки. Вот оттого проще солдата или тебя из города вызвать, чем крестьянина здесь удержать.

Сазонов морщился после выпитой рюмки, откусывал луковицу, обмакнутую в соль:

— А может, не в этом дело, дед? Может, деревня пустая потому, что паспорта, наконец-то, в руки дали, уезжать стало можно.

— Не-е, ты горячку не пори. Сталин нас правильно к земле привязал. Ты знаешь, какая тут пустота после оккупации была? Поле голое, пожарище, пустыня. Все на ветер улетело. На этом месте деревня бы никогда не выросла, если б нам позволено было бежать. Все в город бы рванули, не за «палочку» работать, а на зарплату.

Старик запальчиво выцеживал стакан и твердил снова:

— Да и с паспортами не все так строго обернулось. Первому тяжело было в город умыкнуть, а уж если один закрепится, он тогда имел право из деревни близкого родственника позвать, у себя прописать. И отпускал колхоз, выдавали на руки бумажку. У меня из пятнадцати братьев и сестер только четверо в деревне свой век доживали. Троих братьев, правда, война подобрала…

Дед запрокинул тогда голову, коротко пропел что-то народное, невнятное и горькое. Утер рукавом губы, продолжил:

— Отец сначала ходил в город, сезонно, на целую зиму. Старший брат первый насовсем уехал, на фабрику устроился. Потом при НЭПе много сестер рванули, кто кухаркой, кто нянькой детской к богатому. От тех четырех, что в деревне все ж таки остались, дети тоже поразбежались, это при Никитке уже, когда разрешили… Конечно, стали мы солдат и городских на уборку мобилизовать, если три поколения деревня своих сынов в город выпихивала, вот и обнищала. Город сожрал нас, выпил молодые соки, а теперь подачками открещивается, тобой вон или студентом.

Старик взял увядшее яблоко со сморщенной коркой:

— Старой породе осталось только доживать по дряхлым избам.

Пастух редко поминал современность, но и без этого не обходилось. Жаловался, как полдня за ним по выгону ходила патлатая худая девка в широченных штанах и хотела выменять его старую пастушью суму, шитую бисером, взамен предлагая надежный туристический рюкзак. Сазонов вертел в руках старикову сумку, плетеную на манер половика из цветастых лоскутов, представлял себе юную (а может, и юного — старик мог не разглядеть) модницу-хиппи в брезентовом клеше, подшучивал над пастухом:

— Правильно, что не обменял, на аукционе такая на полтысячи потянет, старинная вещь…

А сам вспоминал своих знакомых, молодую семью.

В ней старину ценили, ставили во главу угла, точнее, во все углы. В их квартире вдоль стен стояли лавки, вместо тумбочки поблескивал лаком полированный пень, а на нем — керосиновая лампа, на газовой плите сиял натертый до блеска чугунок, шампанское в этом доме разливали исключительно по деревянным ковшам-братинам, из пенопласта была слеплена уменьшенная копия русской печи с прислоненным ухватом, а вышитые народным узором занавески качались под теплым воздухом парового отопления. Когда Сазонов всерьез предлагал семье переехать в так любимую ими деревню, на него смотрели, как на идиота.

«Газон» вывернул на твердую бетонку, раскидывая комья грязи, протащил «москвич» метров десять. Не торопясь, Сазонов выбрался из кабины, водитель легковушки уже смотал трос и протягивал ему два скомканных желтых рубля. Палец его сочился кровью, видать, даже рукавица не защитила от стальных рассупонившихся ниток. Сазонов перевел взгляд с протянутых бумажек на неловкую улыбку водителя: новичок, молоденький неумеха, сколько ему еще путешествовать в этих солончаках. Сазонов отмахнулся:

— Да брось ты. Придумал тоже...

Вмешался один из пассажиров, возрастной, в невиданных заграничных джинсах и замшевом пиджаке с мощной строчкой прошивки:

— Бери, бери, шеф, не отказывайся! Спасибо за помощь.

— Вот «спасибо» и достаточно.

— Верхние Сторожи далеко отсюда? — наседал замшевый пиджак.

— На таком транспорте не доедете.

— А сельсовет ближайший?

— Вот по этой дороге в село упретесь. Есть столовая и сельхозтехника даже, если машину подшаманить вдруг.

— Ну, спасибо, шеф. Всего тебе!

До того как свернуть с бетонки в глиноземную хлябь, Сазонов еще раз глянул в зеркало: водитель прятал трос в багажник легковушки, остальные трое что-то обсуждали, замшевый пиджак активно жестикулировал.

* * *

Грузовик замер рядом с комбайном. Сазонов дал отмашку, из бункера через шнеки в кузов потекла золотая лава. Запахло пылью, соломой, закружилась в воздухе мякинная туча. Нагруженный «газон» уехал к краю скошенной нивы. Там шла узкая дорога, а за ней — пологий берег реки.

Под вербой примостились два велосипеда, к рамам примотаны удочки, подсак, на руле сумка со жмыхом. В тенечке, у простеленной газетки — пенсионеры: один худой, костистый, в очках с толстыми линзами на длинном носу, второй — плотный, но не толстый, с полуседым ежиком и лысиной в стиле «озеро в лесу».

— Ополоснуться, Юрок? — крикнул плотный, заметив, как Сазонов стаскивает клетчатую рубашку.

— А у вас соревнования, гляжу, кто интересней рыбацкую байку расскажет, — кивнул Сазонов на разложенную по газете тарань и полдюжины темных бутылок.

— Каждый по-своему охлаждается. Может, к нам?.. Ну, как хочешь, — не сильно настаивал худой.

— Печет сегодня. Уборку по такой погоде в два дня кончите, — пробормотал его напарник.

— А ты слышал, Юрок, ветку газовую мимо нас будут тянуть, — поделился худой рыбак новостью. — Через реку прокинут. Вот только перед тобой геодезисты отъехали.

— Рыба от газу зачманеет, ловиться перестанет, да и родить тоже, — с ленивым недовольством вымолвил плотный.

Сазонов не сдержался от смеха:

— Это вам геодезисты такую чушь впороли?

Пенсионеры переглянулись:

— Почему чушь? Ты сам посуди, если трубу с газом по дну речки прокинут, что с этого добра ждать?

— Ну, на рыбе-то уж вряд ли эта труба скажется.

— Конечно, ты у нас из городу, парень образованный.

— Куда нам со своим рабоче-крестьянским происхождением, — внезапно стали ерничать рыбаки.

Юрий зашел по колено в воду. С поваленного дерева рыбалила стайка мальчишек. Тонкие прямые удилища, самодельные поплавки из пенопласта, загорелые ноги в подкатанных штанах, наголо стриженные головенки.

Разрезая узкими стрелами воду, вниз по реке скользила пара зеленосерых байдарок — хищные щучьи тела. В них не местный, городской народ. Бородач лет тридцати пяти в олимпийке с длинным рукавом и темных очках, полуобернувшись к напарнику, что-то сказал ему и направил весло на мальчишек. За головной байдаркой к берегу свернула и хвостовая. Окованный железом нос ткнулся в мокрое дерево. Бородач снял кепку с ярким козырьком, зачерпнул ею воды в реке и нахлобучил на голову.

— Привет, рыбакам! Как с уловом сегодня? — начал он чересчур приветливо.

Мальчишки что-то вразнобой отвечали.

— А что, парни, монетки на огородах небось попадаются? — перескочил бородач от рыбалки к другому.

Мальчишки переглянулись, неуверенно начали:

— Да я вот в прошлом году выкопал две копейки тысяча восемьсот… не помню, какого дальше.

— И мне попадалась, с вензелем.

— А мне кулон: на одной стороне Пушкин, на другой — Лермонтов. И твердые знаки у обоих на конце. Наверное, старый.

— Хочешь, за те две царские копейки десять наших копеек дам? Меняемся? Далеко до дома бежать? — улыбался в бороду пришелец в мокрой кепке.

— Минут двадцать пять. А что, подождете?

В поваленное дерево уперлась вторая байдарка. Парень в белой, мокрой от пота косынке, повязанной на пиратский манер, без вопросов о рыбалке нырнул в беседу:

— А старинные вещи есть какие-нибудь? Может, самовар или котелок немецкий?

— У отца кортик фашистский есть, он им свиней колет.

— Немецкий, настоящий?

— Ага, с орлом на ручке.

— Пятерку за него дам, — достал парень синюю бумажку.

— Не, батя если узнает, шкуру спустит.

— Может, икона у кого старая осталась? — давил улыбку из бороды пришелец в мокрой кепке, глаз его за темными стеклами очков было не видать.

— У моей бабки есть икона. Наверное, старая.

— Принести сможешь?

— Да бабка на другом конце села живет.

— Мы не торопимся, подождем.

— Да как-то… бабка ведь живая еще…

— А, ну раз живая, тогда конечно, — невзначай крутил пятерку в пальцах бородатый приезжий.

Хвостовые весельники, устав от долгой гребли, умывали в реке лица, продолжали прерванный разговор:

— У нас в институте профессор один был чудаковатый…

— Тебя с какого курса поперли?

— С третьего. А что?

— Так, к делу не относится. Что там твой профессор?

— Отправили его в очередную этно-экспедицию, в Черноземье куда-то. То ли на Орловщину, то ли южнее куда, к Белгороду, что ли. В общем, как потом нам рассказывал, попал он в местность, где половецких баб — видимо-невидимо. И местные их в быт превратили. У одного истукан как камень для фундамента — угол хаты держит, у другого — еще подо что-то приспособлен. А в одном дворе, говорит, две статуи как столбы устроены, и ворота на них держатся. Вот давай он у местных это добро скупать. Народ южный, прижимистый, за истуканов цену ломит. Скоро в институт телеграмма приходит — кафедра вся, мягко говоря, обескуражена. Телеграмма короткая: «Высылайте деньги, истратился на баб».

Бородач с мальчишками быстро договорился, рыбалка моментально закончилась, пошла резвая смотка удочек. За темными стеклами наконец-то победно сверкнули огоньки:

— На берег, братва. Потопчемся, кости разомнем.

Хвостовики переговаривались:

— Легкий маршрут этим летом. Вот в прошлом году по Двине сплавлялись, чего только Сивый в байдарку не натолкал. И прялки какие-то, и сундучки, и корытца. Там места совсем дикие, вымершие. Избы целехонькие стоят…

Сазонов вошел в реку, прохладная вода сомкнулась над его головой.

* * *

В колхозной столовой было прохладно и пахло затхлой тряпкой от только что вымытого кафельного пола. Сазонов должен был обедать в поле, но раз обед застал его на ссыпке, то отчего не заехать в столовую? За одним столиком сидели местные: почтальонша и бухгалтерша из леспромхоза. Еще пару-тройку столов занимали какие-то проезжие, транзитные. Из дальнего угла столовой сквозь негромкий гомон обедавших донеслось:

— Шеф, давай к нашему шалашу! Мы ж должники твои.

Сазонов всмотрелся, ему приветливо махал человек в замшевом пиджаке, водитель «москвича» подскочил:

— Давайте хоть обедом угощу избавителя своего.

На столе у приезжих было много из того, чего обычному колхознику видеть не позволялось. «Раскрутили Феню Яковлевну, выставила из краснокнижных запасов, — подумал Сазонов. — Может, комиссия какая? Хорошо, что денег с них не взял». Он хотел отказаться, но понял, что поздно, теперь, когда он уже подошел к столику и рассмотрел его, это будет глупо.

Замшевый пиджак был главным, Сазонов понял это еще там, на дороге. Рука главного потянулась за бутылкой, из-под края замши мелькнул золотой браслет:

— Давай, шеф, ополтинимся.

— Мне нельзя, за рулем.

— Да ладно, когда это вашу колхозную братию останавливало.

«На вшивость проверяют? Не похоже».

Рука в замшевом пиджаке налила во все стаканы, не миновав посуды Сазонова и водителя «москвича». Махнули за знакомство.

— Слушай, Юрок, а смог бы ты нас на своем газике до Верхних Сторожей домчать? — закусывая, спросил главный. — Один в кабину, двое в кузов. Михайлу мы здесь бросить можем, пусть «москвича» сторожит.

«Если комиссия, то отчего у председателя официально машину не попросят? И что им проверять в Сторожах?»

— А что, председатель вам отказал в машине?

— Да знаю я этих ваших председателей! — немного возмутился замшевый пиджак. — Когда не попросишь — тысячу отговорок. Особенно сейчас, когда уборочная, техники от них не добиться. Человеку искусства в наш век сложно помощи у администрации искать, — с некоторым пафосом закончил он.

Сазонов помолчал, что-то прикидывая в голове. Наконец решился спросить:

— А что у вас за дело в Сторожах?

— Понимаешь: натуру ищем, локации по-нашему. Ну или чтоб тебе понятней — природу красивую, заповедную. А в Сторожах, мы слышали, церковь деревянная уцелела.

— Есть там церквуха, видел, — отозвался Сазонов.

— Нам бы с ассистентами глянуть, — чувствуя, что дело ладится, заерзал замшевый пиджак. — Художник бы вот, пару фотографий сделал, для отчетности. Какая она эта церковь? Похожа на ту, что в «Вие» была?

— Да я не помню, кино давно глядел, — растерялся Сазонов, видевший церковь в Сторожах мельком. Он запомнил только ветхий посеревший сруб, рыжий от ржавчины купол и жестяного ангела на колокольне, простреленного охотничьей дробью.

— Я нового «Вия» снимать собираюсь, — разливая по второй, говорил замшевый пиджак, оказавшийся режиссером. — Птушко все испортил, «Вий» совсем не таким получился бы. Я с Кропачевым откровенно беседовал, у него идея новаторская была: ведьма не просто летит на Хоме, она его оседлала во время соития. И это он властвует над ней, а состояние полета — это наивысшее любовное наслаждение. Вий не должен выглядеть мешковатым увальнем, Вий — это легко загримированный сотник. Вот основная идея! Сотник знает, кем была его дочь, и он знает, как замешан во всей этой истории Хома. Он все знает! У Кропачева была масса отснятого материала, а Птушко фильм испоганил, слепил очередную сказку для детворы.

Сазонов, видя, как распаляется режиссер, как загорелись его глаза и даже вспотел лоб, робко выдавил:

— Церквуха-то старая, разваливается совсем.

— Ничего, подновят реставраторы, связи у меня есть. Главное — натура, понимаешь? Церковь должна быть архаичной. Лица массовки — настоящие, деревенские, подлинные, городом не испорченные.

Махнули по второй, хотя до прихода Сазонова у киношников уже стояла под столом порожняя посуда. Сазонов, чувствуя, как полста растекаются по крови, уже более смело заговорил:

— Я видел здесь такие лица, особенно у пожилых. Они последние из могикан: сбивают масло в деревянных ступах, как и сотни лет до них делали, кланяются полю за собранный урожай, читают перед дойкой молитву от сглаза. После них читать уже будет некому.

Режиссер вытер влажный лоб, снова заерзал:

— Вот-вот, и я хочу, чтоб как у Параджанова, чтоб отпевали панночку настоящие старухи-плакальщицы.

— Куда тебе до Параджанова? — уронил угрюмо ассистент.

Режиссер укола не заметил, быстро хмелел. Пододвинув стул ближе к Сазонову, стал переходить на откровенности:

— А девчонок среди местных сможем набрать, как думаешь? Нам для народных сцен, ну там для Купаловой ночи или Русальей недели. Согласятся обнаженными в реку забегать?

— Навряд ли, — односложно ответил Сазонов.

Он вспомнил, как неделю назад в полуденный зной он подъехал к реке, стоял, остывал, чтоб не простудить раскаленное тело. На другом берегу пара заходила в воду: он совсем голый, на девушке одни трусы. Сазонов со своего далекого берега, шутя, погрозил им пальцем, крикнул: «Хорош баловаться!» Парень равнодушно ответил: «Сами разберемся». Они были совсем юны, вряд ли супруги, скорее, просто влюбленные. Но Сазонов знал, что, если предложить этой самой девушке зарплату всей съемочной группы, она не будет даже в трусах забегать в воду перед камерой, а уж тем более без них. Другое дело — скрыться в реке перед случайным незнакомым мужиком и только лишь ради секундного куража.

Сазонов вслух сказал совсем другое:

— Такой фильм никогда не выпустят на экран.

Режиссер усмехнулся:

— Ну, «Андрея Рублева»-то выпустили.

— Так и ты, Вадимушка, далеко не Тарковский, — напомнил все тот же скептик-ассистент.

Входная дверь хлопнула, в столовую забежала ватага мальчишек. Они ринулись к прилавку, заказывая лимонад без счета, горы кремовых пирожных, ромовых баб и прочих сладостей. Среди веселого гвалта падали тревожные фразы:

— Влетит же мне от отца…

— А мне от бабки…

Режиссер перевел полупьяный взгляд с ассистента на Сазонова:

— Слушай, Юрок. Я вижу, ты парень толковый, судя по всему, не местный…

— Я местный, — не дал закончить режиссерскую мысль Сазонов.

Замшевый пиджак смерил Сазонова осоловелыми глазами:

— Да брось…

— А чего ты ухмыляешься? — снова перебил его Сазонов. — Чего эт ты мне не веришь? Да, из местных я, понял? Мать дояркой всю жизнь, отец тракторист. У любого здесь спроси, каждый скажет, — уже всерьез блефовал Сазонов, а с соседнего столика стали оборачиваться почтальонша и бухгалтер.

Он вспомнил, как еще день назад кичился своей югославской курткой, как ловил на себе взгляды девушек на танцах, как изредка делал замечания Сашке по поводу «калидора», «пилеменей», «паликмахтера».

Режиссер примирительно поднял руки:

— Ладно. Хочешь быть местным — будь им.

Сазонов поднялся:

— Спасибо за хлеб-соль, за водку-селедку…

За спиной его плыл привычный «белый шум» обеденной столовой.

* * *

Вечер принес прохладу и легкий теплый ветер. Сазонов хотел во второй раз за день свернуть к реке, искупаться, но, увидев агрономов уазик, засомневался. Потом плюнул, все же свернул.

— Ты чего сюда? — спросил агроном, как только его увидел.

— Крайний рейс на сегодня, Владимир Степанович, решил трудовую пыль смыть.

— Понимаю, понимаю, — с задумчивостью ответил агроном.

Сазонов заметил у берега каких-то людей в болотного цвета спецовках. Один забивал колышек с примотанным к нему шпагатом, второй устанавливал разлинованную красно-черную рейку, третий колдовал над теодолитом. Агроном кивнул в их сторону:

— А я вот геодезистов привез, машина у них сломалась... Трассу газовую будут здесь прокладывать. К самой границе нитку потянут, к Ужгороду. И потечет по этой нитке, Юрочка, деньга баснословная, неслыханная. Может, и земля родить перестанет. Да нам теперь и не надо, чтоб рожала, на трубе проживем.

Сазонов внимательно вгляделся в агронома, осторожно спросил:

— Вы будто и не рады тем деньгам?

— Да нет, рад, почему...

Постояли молча. Сазонову стало как-то неловко уходить от агронома к реке, словно разговор их оборвался в неусловленном месте. Агроном выдавил с заметным усилием:

— Сказано: в поте лица добывай хлеб свой.

— Кем сказано-то?

— Да я уж и не помню, — соврал агроном.

Внизу, у их ног, текла река. Тихая, как сама Русь.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В ПОМПЕЕВО

Озеро, конечно, не было заповедным, но красоты здесь хватало. С двух сторон его охватывал дубовый лес, с третьей — стояла камышовая стена, а с четвертого бока озеро подпирал овраг. По узкой дамбе между оврагом и берегом озера вилась дорожка и делала этот уголок труднодоступным, не проскочишь сюда на абы какой машине. Меж двух молодых дубков был втиснут столик, скамейка шириной в одну доску примостилась рядом. Даже небольшая мусорка — следы прошлых пикников — и обожженные костром обломки силикатного кирпича не портили общей картины.

Ольга открыла багажник «нивы», стала доставать пакеты с едой и выпивкой, жестяной мангал, кулек древесного угля. Вера, институтская подруга, принимала пакеты, разбирала складные стулья, приговаривала:

— Как на личном?

— Погоди, не выпили еще, чтоб про такое спрашивать, — притворно возмутилась Ольга.

— Да мне все не терпится! Ты ж знаешь, как я рассказы о твоих похождениях люблю слушать.

— Это потому, что сама всю жизнь только Валерочку своего и знала.

— Ну, отчего это — даже для меня не секрет.

— Слушай, а здорово здесь, — ушла от темы Ольга. — Почему ты никогда меня сюда не привозила?

— У нас еще много мест…
— Вот, пройдоха! Специально меня заманиваешь?
— По себе знаю, главное — интрига.

Ольга приезжала в Помпеево в середине двухтысячных три года подряд. Тогда Вера работала директором в местном ДК и каждый раз звала Ольгу на праздник, имя которому «День села». Праздником Вера гордилась, заверяя, что в районе по размаху и организации нет им равных, хвалила своего худрука: «Баянист, весельчак, массовик-затейник!» — восхищалась публикой — земляками и гостями из соседних деревень. Ольга с первого раза влюбилась в этот самодеятельный праздник, полный деревенского очарования. Трогали за душу доморощенные исполнители, не имевшие музыкального или сценического образования, черпавшие талант, по словам Веры, «из наследственной народной толщи».

Год из года на празднике почти не менялся сценарий, участники и общая обстановка, и именно этим он нравилось Ольге. Праздник повторялся, но не надоедал. На деревянный помост, сколоченный вместо сцены под открытым небом, выходили бабушки в народных костюмах, и сквозь их дрожащие стареющие голоса звучало что-то древнее, сокрытое, дремавшее в каждом, кто мог почувствовать это. Появлялся парень с гитарой и хрипловатым надтреснутым вокалом выбивал влагу на глазах пожилых дам. Выбегала стайка десятиклассниц в гриме «под Вертинского», и с помощью хорошо поставленных движений вкупе с точно подобранной музыкой рождался танец оживших кукол. Этих людей никто специально не учил, на то она и была самодеятельность.

Помимо праздника, Ольга влюбилась в само село, живое, по-своему привлекательное: уютные тихие улочки, дома, утонувшие в зелени вишен и абрикосов; почти из каждого двора жужжал мотор триммера или бензопилы, неизменно пело «Авторадио», а под вечер в теплых летних сумерках из центра села начинала шуметь дискотека. В дни, когда танцев не было, от Дона несся приглушенный звук моторной лодки, и ласкала слух песня с прогулочного катера в исполнении местного «шансонье».

Множество молодежи вечерами наполняло улицу — следы короткого бэби-бума, всплеска, блеснувшего во времена позднего СССР, дети трезвых отцов. Последний в истории страны генсек объявил тогда войну алкоголю, и папаши невольно ненадолго взялись за голову. Когда водка снова вышла из опалы — десять лет беспробудно бухали: то ли наверстывая, то ли время такое выпало, вспоминать страшно. Потом те, что остались живы, посмотрели на подросших детей, схватились за облысевшие головы. Колхозы к тому моменту развалились, мужики поехали по окрестным городам устраиваться кто куда. Через пять-шесть лет у тех, кто не спился, стояла во дворе какая-никакая машиненка, визжал триммер, пело «Авторадио»…

И вообще любовь к Помпеево зарождалась в Ольге с детства. Как и у любой горожанки, у нее тоже была бабушка в деревне. В другой, конечно, не в Помпеево вовсе. И как любая горожанка Ольга прошла все фазы взросления в деревне.

Детство: бабушка — милый друг, ее дом — место, где можно отдохнуть от родителей, немного покапризничать и глобально бездельничать, каждый день наслаждаясь вкусняшками. Юность: бабушкина деревня — тюрьма, колхоз, где даже на дискотеку стыдно выйти. И тут же, почти сразу, — это колхоз, где я выйду на дискотеку и покажу местным, какая я королева. Где тут колхозные ухажеры? Ой, а вот этот не такой и кол-

хозный, что-то в нем есть… Может, он такой же приезжий, как и я? Хотя нет, он местный. Ну, а какая в целом разница? Он веселый, он красавец, за словом в карман не лезет. Лето… Лето!.. Подожди, куда же ты? Я же не нагулялась!.. Не насиделась до рассвета на лавочке с ним, не наговорилась, не нацеловалась!.. Неужели ждать до следующего?.. Я не вынесу, я умру… А в следующее лето уже не Вадик, а Юрик, а следом — другой.

И тут самая неожиданная фаза: бабушки больше нет? А к кому же я буду теперь ездить?.. Бабушкин дом совсем опустел. И вовсе не навевает теплых воспоминаний о юности и веселом лете, только омрачает эти воспоминания. Пустой загон для кур и пустые кролятни… Заросший бурьяном и завалившийся от старости погреб…

После трехлетних поездок в Помпеево у Ольги был длительный перерыв. Что-то тогда случилось у нее, какой-то незапланированный виток, она уже и не вспомнит или не хочет вспоминать теперь. Ольга приехала к Вере спустя лет десять. Уже и Украину в тот момент так жарко не обсуждали, и Сирия на языке не вертелась, и подруга в ДК не работала. Ольга знала об этом, но все равно поехала. Кажется, ее подхлестнул тогда один случай.

Они были в компании на каком-то городском празднике. Стояли около сцены, распивали шампанское, вполуха слушали поднадоевший хит столичной звезды. Рядом появилась другая шумная компания, которую в кругу Ольги сразу окрестили «лесниками». Было видно, что ребята на площадь угодили прямо с вылазки: половина мужиков в шортах и майках, другая половина — в рыбацком камуфляже, барышни — не накрашенные и сильно веселые. «Лесники» тоже пили шампанское, но делали это неаккуратно, пробка у них хлопнула, и струя окатила не только «лесников», но и соседей. От «лесников» вышел лучший переговорщик:

— Мессир, засуньте в ножны ваш водный пистолет, — остановил он хотевшего начать драку Ольгиного друга.

Конфликт вроде бы стал угасать, люди были взрослые, хоть и пьяные, горячей фазы никому не хотелось. Переговорщик добавил напоследок:

— Да ладно вам: отдыхайте, радуйтесь, праздник ведь!

— Как мне радоваться? — возмущалась Ольга. — В мокром костюме, я теперь липну вся.

На сцене на секунду погасли огни, и смолкла музыка.

— Ну, снимай костюм, — в наступившей тишине, весело заявил переговорщик, — я тебя отстираю.

Вспышка первого салютного залпа, вновь грянувший припев: «О боже, какой мужчина!», восторг толпы по грянувшему салюту и удар Ольгиного друга, прилетевший переговорщику в нос, — все хлопнуло одновременно.

Ольга поехала тогда в Помпеево после десятилетнего перерыва в надежде залечить свою неприятную историю. А Помпеево не обрадовало, встретило прохладновато. Дощатая сцена, на которой проходил «День села», исчезла, как и сам праздник. Летнюю танцплощадку демонтировали, на месте ее уютной крытой эстрады залили какую-то бетонно-решетчатую клетку, похожую на зверинец. Но и в этот зверинец почти никто не ходил — молодежь разъехалась. На месте нынешнего директора ДК сидел какой-то старик, бесталанный глупый чиновник. Про него Вера говорила: «Ни-петьни-рисовать». Как занял эту должность старик, Вера и сама не понимала. Ее заботило другое: она слепо была уверена, что до какого-то момента мо-

лодых держала в селе культура и ее, Верин, Дом. Ее «День села», ее танцплощадка, ее новогодние елки и прочие праздники.

Ольга, естественно, возражала:

— Да при чем тут твоя культура? Что ты ее в экономику вмешиваешь? Вспомни практику студенческую, как на картошку нас возили. На севере деревня еще тогда вымерла, полупустая стояла. Кубань и сейчас живет, и дело тут вовсе не в культуре. Пока земля кормит — и люди живут, не разбегаются.

Вера не соглашалась:

— Не скажи. Ты знаешь, отчего с нами в мире не считаются? И боинги сбитые на нас вешают и прочую оккупацию… Оттого, что не осталось в нас культуры. Когда мы последний раз «Оскара» получали? Когда нобелевку за литературу? С Олимпиады гонят, как котов помойных. Да и не в «оскарах» дело… Ты сама когда в кинотеатр ходила? Когда фильм отечественный с удовольствием глядела? Вот и я про то же. А знаешь, почему мы фильмов не снимаем, книг и музыки не пишем? Потому что у нас в стране главный по культуре — чиновник. Кто он? Ни актер, ни режиссер, ни театрал, ни писатель… Он чиновник, он умеет правильно бумажки заполнять. Потому и по стране такие же рассаживаются, — недвусмысленно намекала Вера на ситуацию в Помпеево.

— Ага, а при Союзе, когда культура была, нас весь мир прямо на руках носил! — ерничала Ольга.

— Не весь — половина, — спокойно возражала Вера.

И вот Ольга приехала теперь. Лес шелестел разноцветными кронами, одни успели порыжеть, другие еще держались летних заветов. У берега шарахнула хвостом рыба. На рогатку, торчавшую из воды, присела полусонная стрекоза, которой скоро надолго в спячку.

Ольга плеснула на древесные угли бесцветной жидкости, поднесла зажигалку.

— Разленились совсем, не можем дров собрать, хоть и в лесу сидим, — сказала Вера.

— Ой, не нуди, дай отдохнуть.

— А я ведь не зря про личный фронт спросила, — деловито заявила Вера. — Не так давно твоего бывшего на просторах соцсетей встретила.

— Какого бывшего? Ты конкретней давай.

— Да один из первых твоих. Помнишь, у вас с ним на картошке чуть роман не случился?

— Ты про того с гитарой что ли? — рассмеялась Ольга. — Ох, не могу, нашла бывшего.

— Ну, как там у вас было, не знаю, а под разговор-то я должна тебя подвести.

— Что за разговор?

— Опять интрига, — лукаво улыбнулась Вера. — Скажу, когда домой приедем и компьютер я включу.

Они стали говорить о чем-то легком и постороннем, не требовавшем концентрации. Ольге мимолетно вспомнился второй курс, их сентябрьская поездка на картошку. Был там паренек с параллельного курса — робкая черноволосая тростиночка, пытался ухаживать за Ольгой. А в первый раз она его увидела еще зимой, за полгода до этого. В общагу пришли какие-то местные парни, принесли с собой вино, в переходе между крыльями общежития стихийно образовался сабантуй. Парень с черной гитарой пел таин-

ственную песню о жирафе и о девушке, слишком долго вдыхавшей тяжелый питерский туман. Ему вторила флейта, негромкая, нежная, чистая. Парень, певший об изысканном жирафе, очень редко открывал глаза, а когда это случалось, смотрел в потолок или выше голов собравшихся студентов, будто боялся встретиться с кем-то глазами. Ольга долго смотрела на него, и в один момент он поймал ее взгляд, хотел снова спрятать глаза, прикрыв веки, или увести их в потолок, но задержался, кажется, даже улыбнулся ими. Песня смолкла, и Ольге хотелось, чтобы он подошел к ней, заговорил, сумел сказать не только глазами и стихами из песни… но он подошел лишь спустя полгода, на картошке.

Именно тогда появился еще один, с глазами веселыми, напористыми, дерзкими. «Лирик», певший когда-то о жирафе, попытался вмешаться, Ольга воткрытую дала понять, что он со своей печальной гитарой здесь лишний. Финал был банален: кончилась картошка, кончился и напористый ухажер, уплыл, скрылся в институтских переходах. Той же осенью она увидела фильм о сентиментальном путешествии, как будто снятый по ее судьбе, горько улыбнулась, поняла, что прежней уже не будет.

В последний раз «лирика» она видела на их общем выпускном. Говорили, что после института он уехал в Америку, устроился там по специальности, но тогда многие уезжали, верить в эти слухи было глупо. Остальные, те, что не уехали, привыкали работать не по специальности, время было такое. Раздираемая снаружи и изнутри страна встала на рельсы, как в «Небесах обетованных». Страна чадящим паровозом полетела навстречу… Чему? Как и семьдесят лет назад — неизвестности. Люди перелезли из домов и квартир на железнодорожные рельсы. Эшелоны разноликих дембелей засновали из гарнизонов по своим окраинным республикам, эшелоны уволенных и сокращенных офицеров с семьями рванули следом, составы боевой техники и снаряжения из венгерских, чешских и прочих сытых земель ухнули в сибирские болота и ростовские степи. Совсем как в былое время — самораспустившиеся солдаты Первой мировой. А кроме них были караваны челночников, везших в Польшу утюги и кипятильники в обмен на детские костюмчики и шубы — мешочники перестройки. Толпы ученых и актеров, музыкантов и писателей повалили на Запад — уплыли на философских пароходах новой эпохи. *Страну рвало, она, согнувшись пополам, просила помощи…*

Из воспоминаний Ольгу вырвали близкие мужские голоса. За деревьями мелькнули камуфляжные куртки, к озеру вышла троица с лопатами и металлоискателями. На вид — всем за пятьдесят, полноватые, но не ожиревшие, с проседью в щетине, на футболках и кепках пятна засохшей соли.

— Привет, девчонки! — бодро сказал один в ярко-красной бандане. — Отдыхаете?

— Отдыхаем, — с меланхолией в голосе ответила Ольга.

— Компания не требуется?

— Не требуется, — эхом отозвалась Ольга, не сменив тона.

Один из мужиков сел на пень, стал перешнуровывать берцы. Второй подошел к мусорной куче, растолкал катушкой миноискателя пластиковую посуду, стал плавно водить над землей.

— Да ты че, Вовчик? — изумился тот, что шнуровал обувь. — Я б в этот гадюшник и прибор совать побоялся.

Поисковик с именем Вовчик невозмутимо делал свою работу.

— Покажи, чего нашел-то? — попросила Вера того, что был в красной бандане.

Он уложил на опавшую листву инструменты, охотно запустил руку в карман.

— Начинается, — недовольно закатил глаза под лоб Вовчик.

— А че? — отбивался его компаньон. — Симпатичные девчонки, почему бы и не похвастаться?

«Девчонки» шутку с оговоркой оценили, хохотнули. В руке «сталкера» появилась горсть мелкого разноцветного металлолома:

— Вот, гляньте, пуговичка с лесниковой тужурки. Вот это — наконечник стрелы. Монетка, ранние советы. А вот это — жемчужина сегодняшнего дня — медалька за Крымскую войну. Видишь, вот: 1853, 1854, 55, 56...

У Вовчика в аппарате что-то пискнуло, шнуровавший ботинки поднял от земли голову. «Сталкер» в красной бандане встрепенулся, сжал ладонь, упрятав там находки.

— Сигнал хороший, — спокойно произнес Вовчик, голосом рыбака, готового сделать подсечку.

— Пробка с бутылки, — нагоняя равнодушие, вставил наново зашнурованный.

Вовчик копнул, минуту поковырялся в дерне. На солнце блеснул серебром небольшой кружок.

— Пятнадцать копеек, — прищурившись, хладнокровно сообщил Вовчик. — Тысяча девятьсот десятый.

— Да ладно! — вышел из себя зашнурованный, почти прокричал с отчаяния:

— Ну как так-то?!

— Сейчас отдыхают, — указал Вовчик на «девчонок», — и тогда отдыхали — теряли.

— Стоит она чего-нибудь? — спросила Вера.

Угрюмый Вовчик ничего не сказал, «сталкер» в красной бандане выразительно похлопал по звякнувшему карману с находками:

— Земля опять кормит.

Все трое ушли по узкой дороге к своему оставленному где-то вездеходу. Старатели, новые «возделыватели» земли, помнившие времена, когда она кормила по-иному.

— Ну, расскажи про село, — попросила Ольга. — Только умоляю: ни слова о ДК и нынешнем директоре.

— Да знаешь, есть чему радоваться. Асфальт к одному хутору проложили, места там обалденные, съездим как-нибудь. В хуторе, правда, на постоянке только четверо живут: фермер и пасечник, с женами. Но летом много туда отдыхающих стекается, речка рядом, рыбалка хорошая. У нас пляж в божеский вид привели, много народу транзитного едет — магазинам летом прибыль. Монастырь третий год восстанавливают, храм реставрируют. Собираются даже этно-деревню ставить. У некоторых, на окраине кто живет, подворья пустые выкупают, огороды. Неплохие деньги дают, я слышала. Москвичи, кажется. Гостиницу будут ставить, грозятся лыжную трассу открыть. Лозунг у них: туристический бизнес в каждый дом! Мол, чтоб и население занять. Каждому, говорят, применение будет. Только пока мы налоги за землю по двойному тарифу оплачиваем, как проживающие в туристической зоне.

— А что ж сельское хозяйство? Бесперспективная отрасль? — выражалась казенным языком Ольга.

— Открыли тут недалеко ферму по западным стандартам. Наши, кто туда на работу ездит, говорят: ужас, сердце кровью исходит. Особенно тем, кто раньше на ферме работал. Корова и гуляла раньше, по травке бродила, и продых ей был. А теперь стоит в загоне по колено в жиже, гниет заживо, а ее кормят и доят 24 на 7. Представляешь? Все равно, что машину заведи, и она у тебя работает три года подряд, ты ее не глушишь. Так это железка… Я не знаю, им, коровам этим, спать хоть дают там?

— Чего-то ты утрируешь по-моему? — засомневалась Ольга.

Вера махнула рукой:

— В одном ты права, когда вот напомнила, что Север еще лет тридцать назад вымер, а Кубань и нынче процветает: земля больше нам не кормилица…

— Ты чего? Даже я — человек далекий, и то знаю, что теперь чуть не вдвое больше убираем…

— Да-да, — перебила подругу Вера, — раньше по тридцать тонн с гектара снимали, теперь все пятьдесят. Только семена на 3D-принтере печатаем, и все химикатами залито. Земля выжата, как та корова на агрокомплексе. Мы — долбанные конкистадоры на захваченных территориях.

— А сама ты корову не пробовала завести?

— Так я держала корову — два года. Пацаны мои в школу тогда ходили.

— И с тех пор больше не возникало желание в коровий навоз окунуться?

Вера повременила с ответом, кажется, даже обиделась немного:

— Зря ты так. Ты думаешь, мы от лени скотину больше не держим? Ну я, к примеру, признаюсь — из лени. А другие вот… Знаю многих, кто готов держать, но у одних здоровье не позволяет, другие… Да и не в этом дело вовсе! С монополией тяжело сладить. Вот у нас с десяток свиноферм по области, они весь рынок держат. Только частник начинает голову поднимать, только по дворам свинка домашняя захрюкает, так они поросячий грипп объявляют. Раз в три-четыре года все поголовье в частных дворах скупают и на свалку — в костер. И платят за этих «больных» свиней копейки. У них ведь все: и санэпиднадзор, и прочие все службы на них стараются… И про навоз ты не права… Ты знаешь, как раньше от коровы пахло? Теперь едешь мимо их агрокомплекса, за пять километров чуешь: вот он, вонь стоит — аж слезы катятся. Раньше в поле выедешь — надышаться невозможно, травами пахнет, гречихой зацветающей, всего не перечислить. А сейчас все стекла в машине задраиваю, одна химия в воздухе. Мужики, кто на полях работает, — через одного с онкологиями, дома кровью блюют…

— Да хватит, надоела, — вышла из себя Ольга. — «Раньше-раньше»! Не будет, как раньше. Чего ж мы не перемерли тогда от твоей свинины травленной и молока химического?

Вера долго смотрела на Ольгу, чего-то выжидала, будто ей и вправду нечего было ответить, потом выдавила:

— Привыкли.

Вечером Вера включила компьютер, усадила Ольгу перед монитором. «Мальчишки» ее, неженатые парни, которым едва не перевалило за тридцать, оба были в Москве, на очередной вахте. Муж калымил где-то у соседской старухи, подправлял прогнивший навес над порогом. Сама Вера отложила домашнюю работу до завтра, была свободна от тяжбы «готовить на шайку буйволов», как она любовно называла своих мужчин, им с Ольгой никто не мешал.

На ожившем экране мелькнула яркая оранжевая лента, зарябили ряды фотографий, гифок, открыток и реклам.

— С полгода уже с ним переписываюсь, — прокручивая колесико мышки, говорила Вера.

— И что ж он, до сих пор в Америке? — пыталась быть равнодушной Ольга.

— Нет! Я его тоже перво-наперво об этом спросить хотела, а потом фотографии рассмотрела — поняла, что сзади у него не Америка. Представляешь, уехал в ту самую деревню, куда нас на картошку посылали. Вот он, наш цыганченок, — засияла вдруг Вера.

С монитора улыбалось доброе лицо в пышной бороде. Волосы его почти не поседели, но как-то поблекли, уже не были такими смоляными, от глаз расходились продольные лучики.

— Он же коренной был, в отличие от нас, общажных, — изумилась Ольга. — На старости лет на природу потянуло?

— Да нет, не на старости, — торопливо объясняла Вера. — Говорит, уже лет двадцать пять там живет. Как с Америки вернулся, так в деревню и уехал.

— Чем занимается?

— Каким-то рукоделием, то ли резчик по дереву, то ли еще что. Детворы у него целых пятеро. И еще говорил: пономарем в храме, но за это, я думаю, ему не платят, это он для души. Вот он с женой, гляди.

Ольга всмотрелась в очередную фотографию:

— А он почти не постарел, в отличие от своей жены. У них, наверное, разница лет в десять.

— Ты чего, не узнала? Это ж Лидка Гончаренко с нашего курса.

Ольга всмотрелась внимательней:

— Никогда б не догадалась. Вот что деревня с бабским полом делает.

— Да при чем тут деревня? — отмахнулась Вера. — Он ей просто краситься небось запрещает.

— Спасибо тебе, Верка, — отвернулась Ольга от экрана. — Лишний раз я убедилась, что жизнь меня пощадила, не дала за такого вот выскочить. Сидела б я теперь на хуторе, землю огородную из-под ногтей выковыривала… Пойду покурю.

Ольга вышла на воздух, в голове пронеслась вся ее личная жизнь. Замужем была недолго, потом пару раз пыталась жить без штампа в паспорте, быстро поняла, что и это не ее вариант. Много путешествовала, в любовниках зампред однажды был, родителей не забывала, старалась раз в месяц навещать. Хобби было, как у любой интересной женщины, на скалолазание, помимо этого, ходила. Пыталась хранить здоровье и фигуру, раз десять бросала курить… Вот и весь послужной список, вся биография налицо.

Темное небо нависло над Помпеево, чистое, без оранжевого зарева уличных фонарей, за которым не разглядеть звезд. В ночном небесном пологе остался росчерк, сама упавшая звезда врезалась в макушку яблони, рассыпавшись в пыль. Ольга не знала, что ей нужно загадать, у нее не было желаний.

Издали, откуда-то с окраин села, там, где должна была вырасти этнодеревня, плыли голоса каких-то неведомых свирелей, сопелок, гудков. Рождалась забытая народная музыка.